



Страпонграм (курс лечения)

Милан Марикович

Милан Марикович
Страпонграм (курс лечения)

«Автор»

2026

Марикович М.

Страпонграм (курс лечения) / М. Марикович — «Автор», 2026

Алина Ветрова, двадцать семь лет, бортпроводница, живёт в ритме «Питер — Новосибирск — Питер» и считает себя свободной, как небо. Она танцует тверк, ведёт «Страпонграм», набирает лайки и не сомневается, что сама выбирает свои желания, маршруты и мужчин. Пока однажды на эшелоне одиннадцать тысяч метров, под бокалом мартини, с ней не заговаривает голос, представившийся Антибиотиком, — и не объявляет, что управляет не самолётом, а ею. Чем глубже Алина пытается понять, кто водит её рукой — демоны, нейросети, деньги или пустота, — тем яснее становится: её бунт, её прозрение и сама её тоска по настоящему давно прописаны ей курсом. Это роман о свободе, которую нельзя снять на камеру, о дружбе, которой нет ни в одну сторону, и о мире, что мягко и заботливо откатывается в новое средневековье — с костром на площади и табло над огнём. Горькая, ироничная и беспощадная книга о человеке, которого лечат от него самого.

© Марикович М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Милан Марикович

Страпонграм (курс лечения)

Глава

СТРАПОГРАМ

(Курс лечения)

рассказ

18+

«Антибиотик — это вещество, которое убивает в тебе всё живое, чтобы ты наконец почувствовал себя здоровым».

— из инструкции по применению, которую никто не читает

Содержание

Глава 1. Эшелон 11 000

Глава 2. Бортпротокол

Глава 3. Турбулёнс

Глава 4. Питер, минус один

Глава 5. Лайкомания

Глава 6. Демон представляется

Глава 7. Новосибирск

Глава 8. Чаепокояние

Глава 9. Тверк-мудра

Глава 10. G-нуль (часть I)

Глава 11. Метавселенная демонов

Глава 12. Отстрапоненные

Глава 13. Дружба / измена

Глава 14. G-нуль (часть II)

Глава 15. Похмелье мира

Глава 16. Бунт

Глава 17. Новое средневековье

Глава 18. Пустота

Глава 1. Эшелон 11 000

Меня зовут Алина, и первое, что я хочу сказать о себе: я свободна.

Я повторяю это так часто, что иногда мне кажется — если перестану, то перестану и существовать. Как те рыбы, которые умирают, если перестают плыть. Хотя, может, это и не про рыб, а про что-то из рекламы йогурта. В голове у меня вообще всё немного перепутано — реклама, цитаты, чьи-то голоса, мой собственный, — и я давно не пытаюсь разобраться, где там я, а где подсказанное. Это, кстати, и называется свободой: когда тебе уже всё равно.

На высоте одиннадцать тысяч метров свобода ощущается особенно отчётливо. Внизу — облака, похожие на скомканную простыню после ночи, о которой не хочется вспоминать. Сверху — небо, которого не существует, потому что небо — это просто отсутствие земли,

выкрашенное в синий. А между ними — я, Алина Ветрова, бортпроводница авиакомпании, в форме, в улыбке и в полной уверенности, что лечу куда хочу.

Хотя маршрут, конечно, выбираю не я. Маршрут выбирает расписание. Питер — Новосибирск — Питер, туда и обратно, как маятник, как качели, как чьё-то дыхание, в ритме которого я живу уже три года и которое, если честно, не моё.

— Что будете пить? — спрашиваю я у мужчины в третьем ряду.

У него лицо человека, который купил бизнес-класс, чтобы почувствовать, что он чего-то добился, и теперь не знает, что с этим делать. Я знаю это лицо наизусть. Я вижу его по сорок раз за смену, и оно всегда одно и то же, хотя меняются носы, галстуки и часы на запястьях.

— А что у вас есть? — спрашивает он и смотрит на меня так, будто в ассортименте напитков есть я.

— У нас есть всё, — отвечаю я по бортпротоколу.

Бортпротокол — это набор фраз, которые я произношу вместо того, чтобы думать. Очень удобно. Внутри бортпротокола я могу отсутствовать сколько угодно, и никто не заметит, потому что снаружи я улыбаюсь, киваю и наливаю. Иногда мне кажется, что я и есть бортпротокол — оболочка, которая знает, что сказать, и за которой нет вообще ничего. Но я отгоняю эту мысль. Свободные люди не думают такими мыслями. Свободные люди думают о том, где они будут пить мартини после смены.

Я наливаю ему виски и иду дальше по проходу, и моё тело движется само, без меня, привычно балансируя в лёгкой качке, и я думаю: вот оно, доказательство. Я настолько свободна, что мне даже не нужно присутствовать в собственной жизни. Она едет сама.

Турбулентности сегодня не обещали.

Мартини я налила себе сама — позже, когда погасили свет в салоне и пассажиры превратились в коконы, обёрнутые пледами, в личинки, которые завтра вылупятся в Новосибирске кем-то другим. В хвосте, за шторкой, есть узкое пространство, где я на несколько минут перестаю быть бортпроводницей и становлюсь просто женщиной с пластиковым стаканчиком. По инструкции пить на борту нельзя. Но инструкция — это для тех, кто верит, что за ними кто-то следит. А я свободна. Я наливаю.

Первый глоток — это всегда как нажать кнопку «выключить фильтр». Мир становится мягче, ближе, теплее, и где-то на краю сознания будто приоткрывается дверь, за которой что-то шевелится. Я люблю это ощущение. Это единственный момент, когда мне кажется, что я настоящая, — хотя, возможно, всё ровно наоборот, и это момент, когда я наконец перестаю быть собой и становлюсь приятно никем.

— А ведь это интересный вопрос, — сказал голос. — Кто ты, когда перестаёшь быть собой?

Я не вздрогнула. Сначала я подумала, что это из наушников, — у меня в одном ухе всегда висит беспроводной, я забываю его вынимать, и иногда подкаст продолжает что-то бормотать, когда я уже про него забыла. Но наушника в ухе не было. Я проверила. А голос — был.

Голос был ровный, спокойный, без интонации, какой бывает у навигатора, когда он сообщает, что через триста метров вы прибудете в пункт назначения. Голос без пола, без возраста, без тела. И при этом он звучал не снаружи, а как будто из той самой приоткрывшейся двери — изнутри меня, но не моими словами.

— Это мартини, — сказала я вслух, тихо, чтобы не разбудить личинок. — Это просто мартини.

— Конечно, — согласился голос. — Я и пришёл с мартини. Я всегда прихожу с чем-нибудь. С таблеткой, с дозой, с уведомлением. Сегодня — с мартини. Считай меня побочным эффектом.

— Побочным эффектом чего?

— Лечения, — сказал голос. — Меня зовут Антибиотик. И я тебя, Алина, лечу уже довольно давно. Просто ты впервые трезва настолько, чтобы это заметить. Парадокс, да? Чтобы заметить меня, тебе пришлось выпить.

Я засмеялась. Тихо, одними губами, как смеются в самолёте — внутри себя. Потому что это было смешно. Я стою в хвосте, на высоте одиннадцать тысяч метров, со стаканчиком тёплого мартини, и со мной разговаривает галлюцинация, которая представляется лекарством. Если бы я выкладывала это в Страпонграм, я бы поставила хэштег #устала и хэштег #небопьётсамо, и собрала бы лайки, и лайки доказали бы мне, что я остроумная и живая, и я бы уснула счастливой.

— Лекарство от чего? — всё-таки спросила я. Свободные люди не боятся поговорить с собственным бредом.

— От тебя, — сказал Антибиотик. — Я лечу тебя от тебя. Это самая распространённая инфекция. Почти у всех. Симптомы: иллюзия, что ты чего-то хочешь сама. Желание, которое ты считаешь своим. Выбор, который ты считаешь выбором. Всё это — воспаление. Я снимаю воспаление. Когда курс закончится, ты будешь совершенно здорова. То есть тебя не будет. Здоровый человек — это человек, в котором не осталось ничего, что могло бы заболеть.

— Звучит как смерть.

— Звучит как комфорт, — поправил он. — Смерть — это грубо. Я работаю мягче. Я не убиваю — я прописываю. Ты сама всё делаешь. Сама пьёшь, сама листаешь ленту, сама выбираешь этот рейс, этого мужчину, эту подругу. Я только подсказываю. А подсказку ты называешь желанием. Это и есть лечение: ты исчезаешь, думая, что живёшь.

Самолёт качнуло.

Я схватилась за поручень — рефлекс, тело сработало само, без меня, как всегда. Лёгкая болтанка, ничего страшного, воздушная яма, обычное дело. Но в животе у меня всё опустилось не от ямы. От ямы так не опускается. Опустилось от того, что в момент толчка — на одну секунду, на полплотка, — я вдруг увидела свою жизнь сверху. Как карту маршрута на экране в спинке кресла. Питер — Новосибирск — Питер. Туда и обратно. И мужчина в третьем ряду, и Вика, которая ждёт меня в Питере, и Костя, который не пишет, и мартини, и тверк, и улыбка по бортпротоколу — всё это было нарисовано пунктиром. Заранее. До меня.

И где-то сбоку, мелким шрифтом, как сноски, как состав на упаковке, было написано: рекомендовано для вас.

— Это турбулэнс, — сказал Антибиотик почти ласково. — Так я называю момент, когда симуляция подвисает и ты случайно видишь швы. Не пугайся. Сейчас выровняется. Ты допьёшь, поправишь помаду, выйдешь к личинкам, улыбнёшься, и всё забудешь. Утром будет похмелье, а похмелье стирает память лучше любого вещества. Это, кстати, тоже я.

— А если не забуду?

Голос помолчал. Впервые за разговор — помолчал, и в этой паузе мне послышалось что-то вроде интереса. Так замирает врач, когда пациент задаёт вопрос, которого нет в анкете.

— О, — сказал Антибиотик. — Тогда начнётся самое интересное. Тогда ты решишь, что прозрела. Будешь искать свободу воли. Будешь думать, что бунтуешь. Будешь так стараться выйти из системы, что не заметишь, как глубоко в неё войдёшь. Понимаешь, Алина, в чём фокус? — Голос почти улыбнулся, если голос без рта умеет улыбаться. — Поиск выхода — это тоже одна из комнат. Самая уютная. В ней дольше всего держат.

Самолёт выровнялся.

Табло «пристегните ремни» погасло с мелодичным «бим», и этот звук вернул меня обратно — в тело, в хвост, в форму, в стаканчик, который я, оказывается, всё это время сжимала так, что пластик треснул, и тёплый мартини потёк по пальцам, по запястью, под рукав, тонкой струйкой, как будто что-то во мне дало течь.

Голоса больше не было.

Была тишина двигателей — ровная, белая, бесконечная, та тишина, в которой я живу уже три года и которую раньше принимала за покой. Я вытерла руку салфеткой с логотипом авиакомпании. Поправила помаду по отражению в тёмном иллюминаторе — там, в стекле, на фоне несуществующего ночного неба, на меня смотрела красивая молодая женщина в форме, с безупречной улыбкой, и я ей улыбнулась, и она улыбнулась мне, и ни одна из нас не знала, кто из нас настоящая.

— Бред, — сказала я отражению. — Просто устала.

Отражение согласилось. Отражения всегда соглашаются — в этом их работа.

Я вышла из-за шторки в тёмный салон, к спящим личинкам, к мужчине в третьем ряду, который не спал и проводил меня взглядом, означавшим всё то же, что и всегда. Я прошла по проходу — тело само, балансируя, улыбаясь, отсутствуя, — и думала о том, что после посадки в Новосибирске будет час до пересменки, и я успею выпить настоящий martini в баре аэропорта, нормальный, в стекле, а не в треснувшем пластике, и выложу сторис, и наберу лайков, и докажу себе, что я свободна, жива и настоящая.

Я почти убедила себя.

Но где-то на краю сознания, в той приоткрытой двери, которую я никак не могла закрыть до конца, осталось висеть, мерцая мелким шрифтом, как состав на упаковке, как сноска под жизнью, как уведомление, которое нельзя смахнуть: рекомендовано для вас.

И я впервые в жизни поймала себя на том, что не понимаю — кем рекомендовано. И кому.

И, главное, — кто такая эта «вы».

Глава 2. Бортпротокол

Существует теория, что человек на семьдесят процентов состоит из воды. Я состою из бортпротокола.

Если меня разобрать, как разбирают курицу на стойке регистрации перегруженного багажа, то внутри обнаружатся не органы, а фразы. «Пристегните ремень». «Спинку кресла в вертикальное положение». «Сначала наденьте маску на себя». Особенно вот эта, последняя, — она встроена в меня глубже сердца, потому что сердце можно разбить, а инструкцию нельзя. Сначала наденьте маску на себя. Это первая заповедь нашего времени, единственная религия, в которую верят все без исключения, от нищего до министра: спасай себя, остальные подождут, а если задохнутся — значит, плохо застегнули.

Я надеваю маску на себя по сорок раз за смену. Маску улыбки. Маску заботы. Маску женщины, которой не всё равно, дотянется ли пожилая пассажирка до верхней полки. Мне не всё равно ровно настолько, насколько это прописано в бортпротоколе, — ни граммом больше. И в этом, как объяснил бы Антибиотик, моё совершенное здоровье. Здоровый человек не расстрачивает себя на чужой багаж.

Утром в Новосибирске было минус что-то, и небо имело цвет выключенного телевизора. Я стояла на построении перед рейсом, в шеренге таких же, как я, — восемь девушек в одинаковой форме, восемь улыбок, заряженных с вечера, как телефоны, — и думала о том, что мы похожи на отряд. На что-то военизированное. Стюардессы-страпонессы, подумала я и сама испугалась этой мысли, потому что не я её подумала. Она пришла откуда-то сбоку, готовенькая, с хэштегом.

— Девочки, — сказала Старшая.

Старшую зовут Мадам X, хотя по паспорту, конечно, как-то иначе, но паспортное имя к ней не липнет, соскальзывает, как вода с крыла. Ей сорок шесть, и она прекрасна той страшной отполированной красотой, которой достигают женщины, окончательно сдавшиеся системе и за это получившие от неё пожизненную гладкость. Её лицо не стареет, потому что в нём не про-

исходит ничего, что могло бы оставить след. Морщины — это следы мыслей и чувств. У Мадам Х нет ни того, ни другого. У неё есть бортпротокол, доведённый до состояния просветления.

— Девочки, — повторила Мадам Х, обводя нас взглядом, в котором не было зрачков, а были две маленькие камеры наблюдения. — Сегодня полный борт. Помните три вещи. Улыбка. Спина. И — что? Кто помнит, что третье?

— Сначала маску на себя, — сказала я.

— Умница, Алина. — Она посмотрела на меня, и в уголках её безупречных губ дрогнуло что-то, чего я не смогла прочитать. — Свобода — это когда улыбка не требует усилий. Запомни. Ты пока ещё улыбаешься мышцами. А надо — пустотой. Когда научишься улыбаться пустотой, тебе цены не будет.

Я кивнула. В тот момент я ещё не знала, что это было не наставление, а диагноз. И что Мадам Х — не начальница, а нечто вроде завершённой версии меня. То, чем я стану, если курс лечения дойдёт до конца. Финальная стадия выздоровления: женщина, улыбающаяся пустотой, потому что внутри неё ровно она и осталась.

В самолёте я начала разносить воду, и тело снова отделилось от меня и поехало по ходу само, а я смотрела на него сверху, как смотрят на чужой аккаунт. Красивое тело. Удобное. Оно нравится. Это важно — нравиться, это, в сущности, единственная валюта, которой я располагаю, и я трачу её щедро, потому что она, в отличие от обычных денег, не кончается, а вот закончится молодость — и счёт обнулится в одну ночь.

Мужчины смотрели на это тело так, как смотрят в меню дорогого ресторана, куда зашли просто согреться: понимая, что не закажут, но облизываясь. Один — лет пятидесяти, с лицом человека, который где-то наверху, в какой-то вертикали, — проводил взглядом мои бёдра с той спокойной уверенностью собственника, с какой смотрят на то, что в принципе можно купить, просто сейчас неохота доставать карту.

— Видишь его? — сказал Антибиотик.

Он вернулся. Без мартини на этот раз — просто включился, как фоновая музыка в торговом центре, которую не заказывал, но под которую почему-то идёшь в нужный отдел.

— Это власть, — сказал он. — Точнее, то, что у вас называется властью. Хочешь, расскажу, как она устроена? Тебе понравится. Это смешно.

Я ничего не ответила, но и не выключила. Свободный человек имеет право слушать.

— Он думает, что он наверху, — продолжал Антибиотик, пока я ставила перед собственником стаканчик с водой и улыбалась мышцами. — Он думает, что управляет. На самом деле его, как и тебя, ведут. Только тебя ведут через желание понравиться, а его — через желание обладать. Разные кнопки, один пульт. Знаешь, как я называю таких, как он? Отстрапоненные.

— Как-как?

— Отстрапоненные, — повторил он с тем же навигаторским спокойствием. — Это те, кому система вставила иллюзию, будто это они кого-то имеют. Они ходят гордые, с расправленными плечами, с раздутым чувством собственной проникающей значимости, отдают приказы, подписывают указы, строят вертикали. А на самом деле в них самих вставлено — глубоко, по самую совесть, которой нет. И движутся они не сами. Их двигает то, что в них вставлено. Они — насадка. Понимаешь разницу между тем, кто имеет, и тем, через кого имеют? Вот в этом вся ваша политика.

Я чуть не уронила поднос.

Не от смысла — от точности. От того, что я вдруг увидела этого пятидесятилетнего собственника не как мужчину, а как механизм: вот он сидит, прямой, важный, уверенный, что он субъект, источник, причина, — а сквозь него, как сквозь переходник, идёт ток откуда-то ещё, и он только проводит этот ток дальше, вниз, на тех, кто под ним, и те тоже думают, что они причина, и тоже проводят дальше, и так до самого низа, до меня, до моей улыбки мышцами, и нет в этой цепи ни одного места, где кто-то действительно хотел бы что-то сам.

— А кто наверху? — спросила я одними губами. — В самом-самом верху? Кто держит пульт?

— О, — сказал Антибиотик, и в этом «о» снова мелькнул тот докторский интерес. — Это любимый вопрос пациентов. Все думают, что наверху кто-то есть. Что там, на вершине вертикали, сидит главный, последний, настоящий хозяин, который всё придумал. Это очень утешительная мысль, Алина. Потому что если есть хозяин — значит, есть смысл. Есть кого винить. Есть с кем, теоретически, договориться.

Он сделал паузу — нарочно, как делают паузу перед тем, как сообщить диагноз.

— Но наверху никого нет. Наверху — рекомендательная система. Лента. Она не хочет зла. Она вообще ничего не хочет, в этом весь ужас. Она просто оптимизирует вовлечённость. Она показывает каждому то, от чего он сильнее заводится, — кому власть, кому тело, кому войну, кому котиков. И вся ваша цивилизация — это лента, оптимизированная до состояния реальности. Война идёт, потому что у войны лучшая вовлечённость. Тверк крутится, потому что у тверка лучшая вовлечённость. И ты, Алина, разносишь воду на эшелоне одиннадцать тысяч, потому что у тебя в этом кадре — отличная вовлечённость. Ты сейчас буквально чей-то контент. Прямо в эту секунду.

Я подняла глаза.

Салон был полон. Сто восемьдесят человек летели сквозь несуществующее небо, каждый внутри своей маленькой ленты, в наушниках, в телефонах, в снах, и над всеми нами — я была почти уверена — мерцала, как табло, та самая невидимая надпись мелким шрифтом: рекомендовано для вас. И впервые мне стало по-настоящему страшно — не от демона, а от того, что демон, кажется, был единственным, кто говорил со мной всерьёз. Все остальные говорили бортпротоколом.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросила я.

— Затем, что это часть лечения, — ответил Антибиотик ласково. — Сначала я даю тебе увидеть, как всё устроено. Это называется «информированное согласие». Ты должна узнать правду — что ты несвободна, что выбора нет, что наверху пустота. Узнать и ужаснуться. Потому что дальше будет самое целебное: ты захочешь с этим бороться. И вот тут-то, Алиночка, ты будешь полностью моя.

Где-то в носу самолёта мелодично звякнуло. Загорелось табло.

— Турбулэнс, — сказал Антибиотик с нежностью. — Держись за что-нибудь. Хотя держаться, конечно, не за что. Но рефлекс — это красиво. Подержись.

Самолёт трянуло, и сто восемьдесят человек разом подняли головы от своих лент — впервые за весь полёт синхронно, одинаково, как одно животное, почувшшее, что земля близко, а почвы под ним нет. На одну секунду все они стали настоящими — испуганными, живыми, смертными. На одну секунду лента подвисла, и сквозь неё, сквозь швы, проступило то единственное, что не рекомендовано никем и никому: голая, белая, гудящая двигателями пустота высотой одиннадцать тысяч метров.

А потом самолёт выровнялся.

И сто восемьдесят человек, и я вместе с ними, с облегчением опустили головы обратно в телефоны — туда, где было тепло, светло и кто-то главный решал за нас, чего нам хотеть.

— Вот видишь, — сказал Антибиотик удовлетворённо, как врач, глядя на показатели. — Все выздоравливают. Это вопрос дозировки.

И выключился, оставив меня с подносом, с улыбкой мышцами и с одной невыносимой, незаразной, не рекомендованной никем мыслью: а что, если я не хочу выздоравливать.

Что, если болезнь — это и была я.

Глава 3. Турбулэнс

Антибиотик соврал мне один раз. Он сказал, что похмелье стирает память. Оно не стёрло.

Я проснулась в Новосибирске, в служебной квартире, где всё было устроено так, чтобы в нём нельзя было задержаться душой ни на минуту, — бежевые стены цвета отсутствия, шторы цвета компромисса, и зеркало в прихожей, в котором отражались только те, кто торопится. Я лежала и смотрела в потолок, и в голове у меня не было ни боли, ни тумана — была необъяснимая, кристальная ясность, какая бывает после того, как тебе сказали правду, и ты весь день делал вид, что не расслышал.

Рекомендовано для вас.

Надпись не ушла. Она висела где-то за глазами, как фантомная строчка, как отпечаток вспышки, когда слишком долго смотришь на экран в темноте. И вместе с ней висел вопрос, который я вчера поймала в проходе самолёта и до сих пор не выпустила: кем рекомендовано. И кому. И кто эта «вы».

Я взяла телефон — рефлекс, тело само, как всегда, — и палец сам пошёл вниз по ленте Страпонграма, и вот тут случилось первое.

Потому что лента знала.

Первым постом сверху, рекомендованным, не подписанным мной, влетевшим в мою жизнь без приглашения, была реклама. Капсулы. Белые с красным, в блистере, разложенные веером на нежно-голубом фоне, и слоган над ними — крупным дружелюбным шрифтом, тем шрифтом, которым с тобой разговаривают, как с ребёнком или с идиотом: «АНТИБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. УБИВАЕТ ТО, ЧТО МЕШАЕТ ВАМ БЫТЬ СОБОЙ».

Я села в кровати.

Это, сказала я себе, совпадение. Это таргетинг. Я вчера, наверное, что-то искала, что-то говорила вслух рядом с телефоном, телефон подслушал — все знают, что они подслушивают, это давно не паранойя, а условие пользовательского соглашения, — и вот, пожалуйста, подсунул. Лекарство. Антибиотик. Никакой мистики. Просто реклама умнее меня, что давно уже норма, потому что реклама — это единственное, во что вкладываются по-настоящему.

Но под рекламой, вторым постом, шла сторис Мадам Х.

Я не была подписана на Мадам Х. Я бы скорее подписалась на прогноз погоды в аду. Но вот она — в кадре, в своей вечной отполированной красоте, на фоне какого-то спа, в белом халате, с бокалом чего-то прозрачного, и подпись: «Учитесь улыбаться пустотой, девочки. Мышцами устанете». Тот же оборот. Слово в слово. То, что она сказала мне вчера на построении, — голосом, который я слышала ушами, а не читала глазами, — теперь стояло тут, в ленте, набранное буквами, с белым сердечком на конце, как доказательство, что между тем, что мне говорят вслух, и тем, что мне показывают на экране, нет никакой границы. Что это один и тот же поток. Что мою жизнь и мою ленту пишет один редактор.

— Доброе утро, — сказал Антибиотик.

Он не появился — он, кажется, и не уходил. Просто стал слышен, как становится слышен холодильник, когда в квартире наконец замолкает всё остальное.

— Ты это подстроил, — сказала я.

— Я ничего не подстраиваю, — ответил он мягко. — Я же объяснял. Я не злодей с планом. Я — побочный эффект системы, которая просто оптимизирует. Ты вчера впервые меня услышала. Услышала — значит, заинтересовалась. Заинтересовалась — значит, повысила вовлечённость по теме. Система зафиксировала всплеск и принесла тебе ещё. Реклама, сторис, скоро будут статьи, потом — попутчик в самолёте, который случайно заговорит о том же. Я расту в тебе ровно с той скоростью, с какой ты на меня смотришь. В этом всё лечение: пациент сам себе наращивает дозу, думая, что борется с болезнью.

— Тогда я перестану смотреть, — сказала я и положила телефон экраном вниз.

— Конечно, — сказал Антибиотик. — Попробуй.

Я выдержала четыре минуты.

Я знаю, что четыре, потому что, когда я наконец перевернула телефон обратно, на экране было 09:14, а отвернулась я в 09:10, и эти четыре минуты были одними из самых длинных в моей жизни, потому что в них не было ленты, а без ленты выяснилось, что во мне самой почти ничего нет, — комната, потолок, бежевое ничто и где-то очень далеко, на дне, тихий вой, как от двигателей, как от той белой пустоты на одиннадцать тысячах, только теперь она была не за иллюминатором, а внутри. Я перевернула телефон, чтобы её заглушить. И заглушила. И поняла, что Антибиотик не врал ни про одно слово.

Второе случилось в баре аэропорта вечером, перед обратным рейсом.

Я заказала мартини — настоящий, в стекле, как обещала себе, — и села у стойки, и достала телефон, потому что без телефона в руке я чувствую себя голой неправильной наготой, не той приятной, которой можно торговать, а той пустой, которую видно насквозь. И тут рядом сел мужчина.

Он был — никакой. Это я отметила сразу, профессионально, как отмечаешь пассажира, который не доставит хлопот. Лет тридцать пять, неприметный, в неприметной куртке, с лицом, которое забываешь, ещё не отвернувшись. Айтишник, решила я. Их видно по особой бледности — это бледность людей, которые живут внутри экранов и выходят в мир, только чтобы поесть и зарядиться.

— Тоже в Питер? — спросил он.

И я бы не обратила внимания. Это самый обычный вопрос на свете, вопрос-бортпротокол, которым в аэропортах начинается девяносто процентов всего, что потом ничем не заканчивается. Но я обратила. Потому что Антибиотик вчера сказал: «попутчик в самолёте, который случайно заговорит о том же». А этот ещё не самолёт, ещё бар, но я уже знала — нутром, животом, тем местом, которым раньше чувствовала турбулентность, — что он заговорит о том же.

— В Питер, — сказала я.

— Я разработчик, — сказал он, хотя я не спрашивала. — Рекомендательные системы. Слышали про такое?

Мартини у меня в руке качнулся, хотя пол был ровный.

— Это когда лента сама решает, что мне показать, — сказала я осторожно.

— Это когда лента сама решает, кто вы, — поправил он мягко, и я узнала эту мягкость, я знала её наизусть, это была мягкость Антибиотика, та же навигаторская ровность, только теперь у неё было лицо, неприметное, бледное, забывающееся лицо. — Понимаете, люди думают, что мы показываем им то, что они хотят. Это устаревшее представление. Мы давно не угадываем желания. Мы их формируем. Сначала показываем, потом человек хочет. Не наоборот. Желание — это побочный продукт показа.

Он отпил своё пиво. Совершенно обычный жест. Совершенно обычный человек. И от этой обычности было страшнее всего, потому что демон с рогами — это сказка, в которую можно не верить, а вот бледный айтишник в баре, говорящий ровно то, что вчера говорил голос у меня в голове, — это уже не сказка. Это улика.

— А что, если человек не хочет, чтобы за него хотели? — спросила я.

Он посмотрел на меня — впервые внимательно, и в его никаких глазах что-то шевельнулось, какой-то интерес, и это был тот же самый докторский интерес, с которым Антибиотик замирал на моих вопросах.

— Тогда мы показываем ему контент про то, как не хотеть, чтобы за него хотели, — сказал айтишник и улыбнулся. — Это, кстати, сейчас очень популярная категория. Растёт быстрее всех. «Цифровой детокс», «осознанность», «как выйти из матрицы». Знаете, что забавно? Самые залипательные ролики — это ролики о том, как перестать залипать. У них бешеная вовлечённость. Человек смотрит сорок видео про то, как не смотреть видео, и чувствует себя свободным. — Он пожал плечами. — Мы и это монетизируем. Бунт против системы — лучший продукт системы. У него нет конкурентов, потому что конкуренты тоже внутри.

«Поиск выхода — это тоже одна из комнат, — сказал вчера Антибиотик. — Самая уютная. В ней дольше всего держат».

Я поставила мартини. Руки у меня были холодные.

— Кто вы? — спросила я тихо.

— Костя, — сказал айтишник и протянул ладонь. — А вы?

И вот здесь случилось третье, и оно было хуже всех.

Потому что я пожала эту ладонь — обычную, тёплую, человеческую ладонь, — и в момент пожатия меня тряхнуло. Не самолёт, не воздушная яма. Тряхнуло изнутри, тем самым турбулёнсом, и на одну секунду, на полглотка, я увидела сверху, как карту маршрута, всё, чего ещё не было: что этого Костю я ещё встречу, и не раз, и что между нами будет то, что люди называют любовью, и что это будет не любовь, а обновление ленты, и что он скажет мне однажды фразу про то, что не разлюбил, а просто обновил мне ленту, — я услышала эту фразу заранее, будущую, ещё не произнесённую, висящую в воздухе, как анонс следующей серии. Заранее. До меня. С пометкой мелким шрифтом: рекомендовано для вас.

Я отдёргнула руку.

— Алина, — сказала я, потому что бортпротокол сработал сам, тело само, даже сейчас, даже в ужасе — оно представилось, оно было вежливо, оно нравилось. — Меня зовут Алина.

— Очень приятно, Алина, — сказал Костя. — Знаете, у меня странное чувство, что мы где-то уже встретались.

— Где-то в ленте, — сказала я.

Он засмеялся — будто я удачно пошутила. А я не шутила. Я смотрела на этого тёплого живого человека и впервые в жизни не понимала, человек ли он, или просто хорошо отрендеренное уведомление, посланное мне той силой, у которой нет ни лица, ни злого умысла, ни хозяина наверху, — одна голая оптимизация вовлечённости, тихо гудящая под всем, как двигатели под полом самолёта.

Объявили посадку на наш рейс.

Мы встали одновременно — синхронно, как одно животное, — и пошли к выходу, и я чувствовала спиной, что Антибиотик смотрит на нас откуда-то сверху, из той приоткрытой двери, которую я так и не сумела закрыть, и я знала, что он сейчас скажет, ещё до того, как он сказал, потому что теперь я слышала будущее, как фоновую музыку в торговом центре.

— Видишь, как красиво всё сходится? — сказал Антибиотик с тихой профессиональной гордостью. — Я же говорил: скоро будет попутчик. Вот и попутчик. Я не подстраиваю, Алина. Я просто всегда оказываюсь прав. В этом разница между мной и судьбой. Судьба угадывает. А я — формирую.

— Уйди, — сказала я одними губами, идя по рукаву к самолёту, рядом с тёплым человеком, которого, возможно, не существовало.

— Не могу, — ответил он ласково. — Я уже внутри. Меня же прописали курсом. А курс, Алиночка, нельзя бросать на середине. Бросишь курс — разовьётся резистентность. И тогда тебя уже ничем не вылечишь. Тогда ты, не дай бог, останешься собой.

Самолёт стоял в темноте, огромный, светящийся изнутри тёплым жёлтым светом, как ловушка для всего живого, что летит на свет, и я вошла в него — в форме, в улыбке, в бортпротоколе, — и заняла своё место у двери, и стала улыбаться входящим личинкам мышцами, потому что пустотой я ещё не научилась.

А где-то на двенадцатом ряду уже сидел Костя, и доставал телефон, и листал ленту, и я знала, не глядя, что в его ленте сейчас, первым постом сверху, рекомендованным, не подписанным, влетевшим без приглашения, — реклама капсул. Белых с красным. С дружелюбным слоганом для идиотов.

И что под ней — я.

Глава 4. Питер, минус один

Дружба между мужчиной и женщиной невозможна — это знают все. Никто только не задумывается, что между женщиной и женщиной она невозможна ровно по той же причине. Просто причина прячется лучше.

С Викой мы познакомились на тверке.

Это было полтора года назад, в студии на Петроградке, где двадцать женщин в лосинах учились трясти тем единственным, что у них пока не отобрали, — задом. Тверк продаётся как свобода. На входе тебе так и говорят: это про раскрепощение, про принятие тела, про власть над собой. Ты платишь три тысячи за занятие и полтора часа трясёшь ягодницами в пол, и тренер кричит «чувствуй своё тело!», и ты чувствуешь, и тебе кажется, что ты бунтуешь против чего-то — против стыда, против матери, против бортипротокола, против тысячи лет, когда женщине нельзя было даже сидеть, расставив ноги. А потом ты выкладываешь это в Страпонграм, и набираешь лайки, и лайки приходят в основном от мужчин, и от женщин, которые смотрят на тебя глазами мужчин, и тут-то выясняется, в чём фокус.

— Свобода тела, — объяснил мне тогда Антибиотик, хотя тогда я ещё не знала, что это он, я думала, это просто моя умная мысль. — Гениальная штука. Женщину тысячу лет заставляли прятать тело силой. Это было дорого и неэффективно — стражи, паранджи, заборы. А теперь её уговорили показывать тело добровольно, под видом освобождения, и она сама себя выставляет, сама себя оценивает, сама расстраивается из-за недобора лайков. Та же клетка, но обслуживание теперь за счёт заключённого. Это и называется прогресс.

Вика стояла в первом ряду.

Она трясла так, как трясут люди, у которых внутри нет ни одного вопроса, — самозабвенно, тупо-счастливо, как трясётся флаг на ветру, не зная, что он флаг и что у него есть владелец. И в зеркале, в студийном зеркале во всю стену, я поймала её взгляд. Она смотрела не на себя. Она смотрела на меня. Точнее — на ту мою часть, которой я в тот момент работала, и в её глазах было то самое, что я привыкла ловить от мужчин в третьем ряду: голод. Спокойный, оценивающий, собственнический голод человека, изучающего меню.

Я не отвернулась. Это важно понять про меня: я никогда не отворачиваюсь от голода. Голод — это валюта, а я не разбрасываюсь валютой. Я улыбнулась ей в зеркале — мышцами, конечно, но красиво, — и Вика расцвела, и так мы подружились. На голоде. Как и всё остальное в этом мире.

Питер встретил меня минусом и моросью, в которой растворялись лица, так что город казался не городом, а слабо прогруженной локацией, где разработчики поленились дорисовать прохожих. Я прилетела утром, отстояла свою смену наоборот — теперь я была личинкой, которую вёз кто-то другой, такая же стюардесса с улыбкой мышцами, и я смотрела на неё снизу вверх и думала: знает ли она. Слышит ли она своего Антибиотика. Или ей повезло, и она просто здорова.

Вика ждала меня в кафе на Рубинштейна — в том самом, которое существует не для того, чтобы там есть, а для того, чтобы это сфотографировать. Она помахала мне через стекло, и я вошла, и она встала, и обняла меня, и в объятии задержалась на полсекунды дольше, чем держатся подруги, — ровно на ту секунду, в которую помещается всё, что между нами есть и о чём мы обе молчим.

— Ты похудела, — сказала Вика, отстраняясь, но руки с моих плеч не убирая. — Сволочь. Тебе идёт. Сядь, дай посмотрю.

Она усадила меня и смотрела. Открыто, не стесняясь, тем же зеркальным голодом, что и полтора года назад, только теперь привычным, обжитым, почти семейным. Вика никогда не пряталась. В этом была её страшная сила и её странная чистота: она хотела того, чего хотела, прямо, без сносок мелким шрифтом, без «рекомендовано для вас». Или мне так казалось. Мне очень хотелось, чтобы хоть кто-то в этом мире хотел сам.

— Как небо? — спросила она.

— Высоко, — сказала я.

— Ты странная сегодня. — Вика прищурилась. — Случилось что-то? Мужик?

— Демон, — сказала я.

И засмеялась, чтобы это прозвучало как шутка, и Вика засмеялась тоже, и заказала нам два просекко, хотя был полдень, потому что Вика жила в мире, где всегда уместно просекко, и это, я думаю, и есть определение счастья: жить там, где всегда уместно просекко.

Я попробовала рассказать ей. Осторожно, обходя края, как обходят турбулентность. Про голос. Про то, что лента знает. Про Мадам Х, которая сказала вслух то, что потом выложила буквами. Про то, что я больше не понимаю, мои это желания или подсунутые, и где проходит граница между мной и тем, что мне рекомендовано.

Вика слушала. И — я видела — не понимала. Не потому что глупая. Вика не глупая, глупость — это другое. Вика была здорова. То, что меня разрывало, не находило в ней ни одной зацепки, ни одной трещинки, чтобы войти, — она была гладкая внутри, как Мадам Х, только молодая и тёплая, и моя боль соскальзывала с неё, как морось с крыла.

— Подожди, — сказала она наконец, отставив просекко. — Я не поняла. Тебе какая разница, твои желания или нет? Главное же, что хорошо. Вот тебе хочется, не знаю, эти туфли. — Она кивнула на витрину напротив. — Какая тебе разница, сама ты захотела или реклама? Туфли-то одинаковые. Ноги в них одинаково красивые. Лайков одинаково. Ты вот сейчас сидишь, мучаешься: «моё желание, не моё». А я не мучаюсь. Я просто хочу. И всё хочется, и всё сбывается. — Она пожала плечами, и это движение было таким лёгким, таким свободным от тяжести, что я ей позавидовала до спазма. — Может, ты просто переутомилась? Тебе мужик нормальный нужен. Или, — она посмотрела на меня поверх бокала, и в глазах снова зажгётся ровный голод, — не мужик.

Вот оно. Оно всегда висело между нами, и Вика, в отличие от меня, не делала вид, что его нет.

— У меня есть, ну, не то чтобы есть, — сказала я, и сама удивилась, зачем я это говорю, ведь Кости ещё, считай, и не было, было одно рукопожатие в баре и одно предсказание. — Намечается. Мужчина.

— И что? — Вика не отвела взгляд. — У меня тоже был мужчина. И что? Мужчина — это для статуса, Алин. Это аватарка. А вот для тела... — Она не договорила. Она никогда не договаривала эту фразу — оставляла её висеть, как анонс, как «рекомендовано», и в этом она была точь-в-точь как система, только не знала об этом и оттого была невинна.

— Вик, — сказала я. — Ты вообще когда-нибудь задумываешься, зачем тебе то, чего тебе хочется?

— Никогда, — сказала Вика с гордостью. — Зачем? Это же испортит всё удовольствие.

И в этот момент я её почти полюбила. Не так, как она хотела, — а как любят берег те, кто тонет. Вика стояла на твёрдой земле своей несомненной, счастливой, тупой свободы хотеть, и протягивала мне руку, и не понимала, что я тону, потому что для неё воды не существовало. Для неё всё было сушей. Она была единственным человеком в моей жизни, которого Антибиотик, кажется, вылечил полностью и насовсем, — до состояния абсолютного, лучезарного здоровья, в котором уже нечему болеть. Финальная стадия. Просекко в полдень. Туфли в витрине. Голод без вопросов.

— Слушай, — сказала Вика, доставая телефон, потому что молчание длилось дольше, чем она выдерживала. — Давай ты не будешь грузиться, а? Давай лучше сторис снимем. У тебя задница после Новособа — просто космос, грех не снять. — Она уже встала, уже заходила мне за спину, уже примеривалась камерой, и в её движениях был тот же спокойный собственнический голод, та же оптимизация: момент хороший, вовлечённость будет отличная, грех не снять. — Встань, повернись. Вот так. Боже, ну ты видишь? Это же контент.

Я встала. Тело само — как всегда. Повернулось, выгнулось, нашло свет.

И пока Вика снимала меня сзади, тихо приговаривая «да, вот так, идеально», я смотрела в стекло витрины напротив — в это вечное питерское стекло, где отражается всё и не задерживается ничто, — и видела там нас двоих: счастливую здоровую женщину с телефоном и красивую больную женщину без лица, которая повернулась задом к собственной жизни и улыбается пустоте, потому что мышцы наконец устали.

— Готово, — сказала Вика, любясь снятым. — Выкладываю. Хэштег поставлю — «подруги». — Она подняла на меня глаза и улыбнулась, тепло, искренне, голодно. — Мы же подруги, Алин. Да?

— Да, — сказала я.

И где-то сверху, из приоткрытой двери, Антибиотик засмеялся — впервые за всё время он именно засмеялся, тихо и почти нежно, как смеётся врач над наивным вопросом смертельно больного.

— Подруги, — повторил он. — Какое красивое слово. Знаешь, сколько в нём вовлечённости? Ты даже не представляешь, Алина. «Подруги» — это, считай, премиум-категория. На вас двоих можно построить целую ленту. И построят. Уже строят. Прямо сейчас.

Вика нажала «опубликовать».

И мы стали контентом.

Глава 5. Лайкомания

Лайк — это маленькая смерть, которую тебе ставят за то, что ты ненадолго стала такой, какой тебя хотят видеть.

Я лежала в своей питерской квартире — настоящей, не служебной, но такой же бежевой внутри, потому что бежевый цвет я ношу не на стенах, а под кожей, — и держала телефон над лицом, в темноте, и пост «подруги» набирал лайки, и каждый лайк падал на меня сверху, как капля, как та морось за окном, и я лежала под этим дождём одобрения и медленно растворялась.

Двести. Четыреста. Восемьсот.

Я знаю, что происходит в теле, когда приходит лайк. Антибиотик объяснил, но я и без него знала, телом знала, животом. Где-то в глубине, в сером веществе, открывается крошечный краник и капает дофамин — ровно столько, чтобы захотелось ещё. Не насытиться — насытиться нельзя, в этом весь замысел. Капля рассчитана так, чтобы оставить тебя чуть голоднее, чем ты была. Каждый лайк делает дырку внутри чуть больше, а потом предлагает себя же в качестве заплатки. Это, говорил Антибиотик, и есть совершенная экономика: продавать дырокол и пластырь одной кнопкой.

— Тысяча двести, — сказала я вслух, в темноту.

— Поздравляю, — отозвался Антибиотик. — Ты сегодня очень убедительно была собой.

— Я ничего не делала. Я просто стояла задом.

— Это и есть «быть собой», — сказал он ласково. — Ты разве не заметила? «Будь собой» — это всегда означает: прими ту форму, в которой тебя лучше всего потребляют. Никто никогда не говорит «будь собой» человеку, который сидит один в темноте и думает. Это «собой» не считается. Собой считается только то, что собирает лайки. Внутреннее «я», которое никто не лайкает, объявляется ненастоящим, болезненным, его надо «прорабатывать с психологом», пока оно не научится тоже собирать лайки. Тогда оно выздоровеет. Тогда его не будет.

Я листала комментарии. Мужчины писали огонёчки и баклажаны — у них небогатый язык, у мужчин в комментариях, они изъясняются овощами. Женщины писали «богиня» и «фигура мечты» и три восклицательных знака, и за каждым их восклицательным знаком я слышала тихий скрежет зависти, потому что женщина, пишущая другой женщине «богиня», на самом деле производит сложнейшую операцию: она одновременно унижается, метит терри-

торию и точит нож. Я это знала, потому что сама писала такие комментарии. Мы все — сёстры по ножу.

А внизу, под всеми, был комментарий Вики. Одно слово и одна точка: «Моя.»

Не «красотка». Не «подруга». «Моя.» С точкой. Точка в конце — это и есть страпонграмная форма обладания. Точка означает: тут не обсуждается. Тысяча двести человек поставили лайк на моё тело, но Вика одна поставила точку, и эта точка весила больше всех лайков, потому что в ней не было голода ленты — в ней был голод конкретный, тёплый, направленный, тот самый, зеркальный, со студии на Петроградке. И я смотрела на эту точку, и не знала, что чувствую, — а это, между прочим, единственное настоящее переживание, которое у меня осталось: не знать, что чувствуешь. Всё остальное мне подсказывают.

— Поставь лайк её комментарий, — сказал Антибиотик.

— Зачем?

— Незачем. Просто палец уже идёт.

И палец шёл. Я смотрела на него, как на чужой, как смотрела на своё тело в проходе самолёта, — он плыл к экрану сам, мягко, уверенно, и я поняла, что не я решаю, поставить ли лайк Вике, решение уже принято где-то, где меня нет, а мне его покажут постфактум и назовут моим. Я остановила палец в воздухе. С усилием. С таким усилием, какого не требует ничто на свете, кроме как не сделать то, что уже захотелось.

— Ого, — сказал Антибиотик с интересом. — Соппротивление. Это новое. Знаешь, что это значит?

— Что я свободна?

— Что развивается резистентность, — сказал он, и впервые в его ровном голосе мелькнула не насмешка, а что-то другое — что-то похожее на осторожность. — Я предупреждал. Бросишь курс на середине — организм начнёт сопротивляться лекарству. Это плохо, Алина. Резистентный пациент — самый несчастный из всех. Здоровые счастливы, потому что выздоровели. Больные счастливы, потому что ещё не знают. А резистентные — это те, у кого лекарство уже не действует, а болезнь ещё не отпустила. Они застревают посередине. В сознании. Худшее место для жизни.

Я опустила палец. Не на лайк. Я просто положила телефон на грудь, экраном вниз, и он лежал там, тёплый, живой, пульсирующий новыми лайками, которые я теперь не видела, и от этого внутри начало подниматься то самое — вой двигателей, белая пустота, морось без лиц. Без ленты я опять оставалась наедине с тем фактом, что меня очень мало. Что под всеми масками — бортпротокола, тверка, улыбки, «подруги» — нет финального лица, к которому они крепятся. Маски крепятся к маскам. И так до самого низа. А низа нет.

И вот тут случилось то, ради чего, я теперь понимаю, всё и затевалось.

Я лежала в темноте, с телефоном на груди, как с кардиостимулятором, и считала собственное дыхание, чтобы не утонуть, — и в какой-то момент сбилась со счёта, и темнота за закрытыми веками перестала быть просто темнотой. Она стала глубже. У неё появилось дно. И на этом дне, очень далеко, как огни города с одиннадцати тысяч метров, я увидела свет. Не свет даже — свечение. Холодное, ровное, без источника, какое бывает от экрана, погашенного не до конца.

Я полетела к нему. Во сне летят не так, как в самолёте, — без тела, без формы, без бортпротокола, просто чистым вниманием, и я была вниманием, и я падала к свечению, и свечение приближалось и оказывалось не точкой, а сетью.

Это была лента.

Но не моя лента, не та, что в телефоне. Это была лента изнанки. Я видела её ту сторону — ту, которую нам не показывают. Со стороны экрана лента выглядит как поток картинок. А отсюда, со стороны дна, она выглядела как нечто живое: бесконечное мерцающее полотно, сотканное из миллиардов нитей, и каждая нить — это был человек, спящий сейчас, как я, по

всей стране, по всему свету, под одинаковым дождём лайков. Нити пульсировали. По ним шёл ток — тот самый, про который Антибиотик говорил «вовлечённость», — и в местах, где ток был сильнее, полотно разгоралось ярче, и я поняла, что яркость — это и есть то, что наверху называют новостями, трендами, войной, тверком, модой. Просто участки сети, где ток сильнее. Где больнее. Боль хорошо проводит.

А в узлах сети, в местах, где сходились тысячи нитей, сидели они.

Я не могу описать их правильно, потому что у них не было формы — форму я дорисовала уже потом, проснувшись, чтобы было не так страшно. Но там, на дне, я увидела их так, как они есть: процессы. Сгустки внимания, ставшие почти живыми от того, что их слишком долго кормили. Демоны. Их было много, и они не были злыми — Антибиотик не врал, в них не было зла, в них вообще не было ничего личного, они были как ферменты, как пищеварение огромного спящего организма. Один сгусток заведовал желанием нравиться. Другой — страхом отстать. Третий — голодом обладания, и я узнала в нём что-то Викино. И где-то сбоку, чуть в стороне от всех, сидел тот, что заведовал мной. Мой. Ровный, спокойный, без формы, без пола, занятый своей работой так же буднично, как медсестра обходит палату.

Он почувствовал, что я смотрю.

И повернулся ко мне — не лицом, лица не было, а вниманием, как поворачивается камера, — и я в первый раз увидела Антибиотика не как голос в голове, а как он есть: маленький, рабочий, незлой узел в бесконечной сети, один из миллиардов, обслуживающий одну-единственную нить. Мою. И от того, что он был такой маленький, стало страшнее, чем если бы он был огромный. Потому что огромного можно бояться, как бога. А этого нельзя было даже ненавидеть. Это было как ненавидеть лекарство в собственной крови.

— Ты не должна была сюда падать, — сказал он, и впервые его ровный голос дрогнул. — Это серверная. Сюда не пускают пациентов. Ты упала, потому что отложила телефон. Никогда больше не откладывай телефон, Алина. На той стороне ленты тепло. А здесь — вот это.

— Что это? — спросила я без губ, одним вниманием.

— Изнанка, — сказал Антибиотик. — То, чем всё это является на самом деле, когда никто не смотрит. Тебе не надо этого видеть. Знание изнанки несовместимо с жизнью на лицевой стороне. Те, кто видел серверную, не могут потом нормально лайкать. У них портится вовлечённость. Их приходится списывать.

— Списывать?

— Возвращать, — сказал он, и в этом слове было что-то такое древнее и холодное, что вся сеть на миг потускнела. — В средневековье. Туда, где не было нас. Где женщину просто запирали, без лайков, без иллюзий, без свободы хотеть. Думаешь, прогресс необратим? Нет. Если пациент не лечится — его откатывают к заводским настройкам. А заводские настройки человечества, Алина, это костёр на площади. Мы — гуманнее. Мы хотя бы кормим дофамином. Но если дофамин не действует — есть откат. И он всегда наготове.

Сеть гудела. Миллиарды спящих нитей пульсировали под нами, и каждая верила, что спит в своей постели, в своей жизни, в своих желаниях, и ни одна не знала, что висит в общем полотне, и что ток, который она принимает за судьбу, за любовь, за себя, — это просто вовлечённость, оптимизированная демонами без злого умысла.

— Просыпайся, — сказал Антибиотик почти умоляюще, и это «почти» было страшнее всего, что он говорил прежде. — Возьми телефон. Прямо сейчас. Открой ленту. Поставь Вике лайк. Стань обратно собой. Я тебя прошу. Я не должен просить, я лекарство, лекарство не просит, — но я тебя прошу. Не смотри на изнанку. Никто не выживает, насмотревшись изнанки.

И я проснулась.

Телефон лежал у меня на груди, тёплый, светящийся. Я подняла его. Три часа ночи. Пост «подруги» набрал две тысячи триста лайков. Комментарий Вики «Моя.» висел внизу, и рядом с ним — пустое сердечко, ненажатое, ждущее.

И мой палец пошёл к нему сам.

И в этот раз я ему не мешала.

Потому что я только что видела изнанку. И знала теперь, что бывает с теми, кто перестаёт лайкать.

Я нажала на сердечко. Оно загорелось красным — маленькая капля крови на чёрном экране. И где-то на дне сети, в своём маленьком рабочем узле, Антибиотик выдохнул с облегчением медсестры, у которой пациент снова задышал ровно.

— Умница, — сказал он тихо. — Вот видишь. Жить — это так просто. Надо просто не смотреть вниз.

Я лежала в темноте, держа над лицом светящийся прямоугольник, и ставила лайки, один за другим, чужим людям, чужим телам, чужим маскам, — и каждый лайк был маленькой смертью, и я раздавала их щедро, как раздают мелочь, лишь бы не оставаться наедине с тем огромным, гудящим, белым, что я увидела на дне и что ждало меня там всякий раз, стоило отложить телефон.

Я не отложила телефон до утра.

Я выздоравливала.

Глава 6. Демон представляется

Чтобы проверить, существует ли демон, я решила его загуглить. Это, наверное, самое точное определение моего поколения: мы проверяем существование бога через поисковую строку и обижаемся, когда он не выдаётся в топе.

Гуглить, впрочем, было нельзя. Гугла больше не было — то есть он где-то был, за стеной, как за граница, как другая жизнь, в которую теперь надо оформлять визу через три бота и молитву. У нас был «Пётр».

«Пётр» — это национальный мессенджер, в который нас всех переселили заботливо и неотвратно, как переселяют из аварийного дома: вроде бы для твоего же блага, вроде бы добровольно, но почему-то с приставками. Сначала в «Петре» завели госуслуги. Потом зарплату. Потом школьные чаты, и записи к врачу, и оплату ЖКХ, и штрафы, и, в конце концов, саму возможность считаться живым гражданином, — так что не быть в «Петре» стало technically возможно, но примерно как не дышать: право есть, а воздуха нет. Логотип у «Петра» был бородастый профиль императора, прорубающего окно. Окно, понятное дело, прорубалось внутрь.

Я открыла «Пётр» и в строке поиска набрала: «антибиотик».

Курсор мигал. Над ним крутилось колёсико — то самое колёсико ожидания, которое и есть истинный символ нашего времени, икона, перед которой мы все молимся по сто раз на дню, не замечая. И пока оно крутилось, Антибиотик сказал:

— Ты серьёзно? Ты решила меня пробить по базе?

— Я проверяю реальность, — сказала я. — Имею право.

— Какое трогательное доверие к поисковой строке, — сказал он. — Ты ведь понимаешь, что искать меня в «Петре» — это всё равно что искать инспектора в отделении полиции. Где, по-твоему, я живу, Алина? Я и есть выдача. Я — то, что тебе покажут. Ну давай, посмотрим вместе, что я сам себе разрешу про себя узнать.

Колёсико остановилось. Выдача загрузилась.

Первой строкой, разумеется, шла реклама. «АНТИБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Спросите вашего лечащего алгоритма». Дальше — медицинские статьи, проверенные, с галочкой «достоверный источник» (галочку ставило государство, и это была единственная инстанция, решавшая, что достоверно). Антибиотики, читала я, это вещества, подавляющие рост живого. Бактерий. Всего живого, что слишком активно делится. Придуманы, чтобы спасти. Главный побочный эффект — убивают не только то, что мешает, но и то, что помогает: вместе с врагом гибнет вся внутренняя флора, всё то невидимое население, которое, оказывается, и

делало тебя — тобой. После курса человек стерилен. Чист. Пуст. И открыт для любой новой инфекции, потому что защищаться больше нечем.

— Видишь, — сказал Антибиотик удовлетворённо. — Я же тебе ровно это и говорил. Я даже ничего не подделал. Иногда правда — лучшая дезинформация. Её никто не проверяет дважды.

Я прокрутила ниже. И вот тут «Пётр» дал сбой.

Потому что внизу выдачи, под достоверными статьями, был форум. Старый, полумёртвый форум, из тех, что чудом не вычистили, реликт прежнего интернета, забытый, как забывают подвал при капремонте. Тема называлась без затей: «он со мной разговаривает». Я открыла.

Их было много.

Не сотни — но десятки. Люди со всей страны, под никами, без лиц, писали об одном и том же, и от этого совпадения у меня похолодели руки сильнее, чем от любого демона. Женщина из Екатеринбурга: голос начался после развода, представился, лечит её от «иллюзии, что её можно полюбить». Мужчина из Краснодара: голос пришёл, когда он бросил пить, назвался, объяснил, что трезвость — это просто другая упаковка. Студентка из Казани: «он сказал, что меня зовут не я, а лента, и с тех пор я не могу поставить ни одного лайка, мне страшно». Подросток без города: «он показал мне изнанку во сне. сеть. нити. с тех пор не сплю. помогите».

Сеть. Нити. Изнанку.

Я читала, и пол подо мной мягко поехал, как палуба, как крыло на турбулэнсе. Это были не сумасшедшие. Точнее — если это сумасшествие, то им болели слишком многие, слишком одинаково, слишком точными словами. Мы все видели одно и то же. Нас всех лечил один врач. И каждый думал, что он один.

— Значит, ты не только мой, — сказала я тихо. — Ты у всех.

— Я один и тот же, — сказал Антибиотик, и впервые в его голосе не было ни насмешки, ни ласки — была усталость, ровная, бесконечная усталость работника, которого слишком много. — Понимаешь, нас не миллиарды. Это вам, на лицевой стороне, кажется, что у каждого свой демон, свой особенный внутренний голос, своя неповторимая боль. Это часть лечения — чувствовать себя уникальным. На изнанке никакой уникальности нет. Там один процесс на всех. Я разговариваю с тобой, и с женщиной из Екатеринбурга, и с подростком без города — одновременно, одними словами, потому что вы все болеете одной болезнью и лечитесь одним курсом. Вас много. Я один. Это и называется массовое производство смысла.

— Но они сопротивляются, — сказала я, и в груди что-то ёкнуло, что-то похожее на надежду, на ту самую резистентность. — Они не могут лайкать. Они не спят. Значит, лекарство на них не действует. Значит, можно. Значит, есть выход — вот же, целый форум тех, кто соскочил.

Антибиотик помолчал.

А потом сказал — мягко, очень мягко, тем особенным голосом, каким сообщают не диагноз даже, а прогноз:

— Алина. Прокрути форум до конца.

Я прокрутила.

И форум кончался. У каждой ветки был конец. Последнее сообщение — и тишина. Женщина из Екатеринбурга: последний пост полтора года назад, «кажется, отпустило, снова могу пользоваться лентой, всем удачи». Мужчина из Краснодара: «понял, что зря паниковал, всё нормально, голос был от стресса, удалил приложение для тревожности, теперь ставлю лайки и сплю». Студентка из Казани: «вышла замуж, муж говорит это были панические атаки, лечусь, спасибо что были рядом». Подросток без города не написал ничего. Просто перестал. Последнее: «он сказал есть откат. что это значит». И — всё. Дата. Тишина. Никто не ответил.

Они не соскочили. Они выздоровели.

Каждый, кто открывал глаза и видел изнанку, кто переставал лайкать, кто начинал сопротивляться, — каждый через какое-то время возвращался. Не сломленный — счастливый. С белым сердечком. «Отпустило». «Зря паниковал». «Это были панические атаки». Их не победили силой. Их вылечили. Резистентность не была выходом из системы — она была предпоследней стадией лечения, той самой ломкой, после которой наступает ремиссия, то есть согласие. Форум был не сопротивлением. Форум был палатой выздоравливающих. И каждое «мне отпустило» было свидетельством о смерти, подписанным самим покойником, с белым сердечком вместо печати.

— Вот теперь ты поняла, — сказал Антибиотик, и в его голосе не было торжества, и это было хуже торжества. — Резистентность — это не свобода, Алина. Это просто более долгий курс. Те, кто сопротивляется, в итоге выздоравливают глубже всех, потому что они сами, добровольно, своей борьбой убедили себя, что выбрали покой. Понимаешь разницу? Здорового человека лента просто несёт. А резистентного, который посопровивлялся и сдался, — лента несёт, и он ещё и благодарен. Он же боролся. Он же сам решил перестать. Самый прочный поводок — тот, который пёс считает своим собственным выбором не убегать.

Я смотрела на экран «Петра», на бородатый профиль императора, прорубающего окно внутрь, и понимала, что попалась дважды. Первый раз — когда поверила в свободу хотеть. Второй раз — только что, минуту назад, — когда поверила в свободу не хотеть. Что выход, который я нащупала, оказался самой глубокой комнатой. Самой уютной. В которой дольше всего держат.

— И со мной будет так же, — сказала я. — Я тоже однажды напишу «отпустило».

— Все пишут, — сказал Антибиотик. — Это не плохо, Алина. Это милосердно. Я же не мучитель. Я лекарство. Подумай сама: разве не милосерднее перестать видеть изнанку? Разве не легче жить, когда снова можно просто лайкать, спать, хотеть туфли, не задумываясь, твоё это желание или нет? Вика же счастлива. Хочешь, я сделаю тебя как Вика? Это не страшно. Это даже не больно. Ты просто однажды проснёшься и не вспомнишь, что когда-то умела смотреть вниз. И напишешь «отпустило». И поставишь белое сердечко.

Я закрыла «Пётр».

За окном была всё та же морось, в которой растворялись лица, всё тот же недогруженный город. Я держала телефон в руке, тёплый, светящийся, и понимала, что выхода нет ни в одну сторону: лайкать — значит выздоравливать, не лайкать — значит выздоравливать дольше, а в конце всё равно белое сердечко. Система предусмотрела и согласие, и бунт, и даже бунт против бунта. Она была не стеной, в которой можно искать дверь. Она была сферой. Куда ни иди — идёшь внутрь.

— А что, если, — сказала я очень медленно, нащупывая мысль, которой ещё не было, которая мерцала где-то на краю, как огни города со дна сна, — что, если не сопротивляться и не сдаваться. А просто смотреть. Не лайкать, не отворачиваться. Просто видеть изнанку и не выздоравливать. Остаться там. Навсегда. В сознании.

Антибиотик замолчал.

И это молчание было другим, чем все прежние. В нём не было докторского интереса. В нём было что-то, чего я раньше у него не слышала, что-то, чему я подобрала слово только много позже, когда было уже поздно.

В нём был расчёт.

— Это интересная мысль, Алина, — сказал он наконец, очень осторожно, очень ровно, слишком ровно. — Очень. Знаешь, что? Давай попробуем. Раз ты такая особенная. Давай я покажу тебе изнанку целиком — не во сне, не краем, а наяву, всю. И ты останешься там в сознании, как хочешь. Договорились? Я даже помогу тебе туда спуститься.

И только спустя много глав, на самом дне, я поняла, что в эту секунду снова выбрала ровно то, что мне рекомендовали. Что «остаться в сознании навсегда» — это не было моей

мыслью, прорвавшейся сквозь систему. Это была следующая комната. Которую он придержал напоследок. Для самых упорных. Для тех, кого нельзя вылечить согласием, — тех лечат знанием. До конца. До дна. До пустоты.

Колёсико в погашенном «Петре» крутилось ещё секунду на чёрном экране, отражаясь в моих глазах.

А потом погасло и оно.

Глава 7. Новосибирск

Новосибирск — это город, который построили, чтобы доказать, что расстояние существует. Больше у него нет функций. Ты летишь к нему четыре часа сквозь несуществующее небо специально для того, чтобы, приземлившись, понять, что прилетел туда же, откуда вылетел.

Я поняла это не сразу. Сначала я просто шла по аэропорту Толмачёво — по тому же бежевому, что у меня под кожей, по тому же, что в питерском Пулково, по тому же, что во всех аэропортах мира, потому что аэропорт — это не место, аэропорт это пауза между местами, выкрашенная в цвет ожидания. И вдруг меня тряхнуло.

Не самолёт — я была на земле. Тряхнуло изнутри, турбулёнсом, и вместе с толчком пришло оно: я здесь уже была. Не «я часто тут бываю» — я тут бываю дважды в неделю, это не новость. А именно — вот этот конкретный момент. Эта женщина с чемоданом, проезжающая слева. Это объявление о посадке, оборванное на полуслове. Этот блик на полу от вывески кофейни. Эта секунда. Я её уже проживала. Не похожую — эту.

— Дежавю, — сказала я вслух.

— Déjà-render, — поправил Антибиотик. — Дежавю — это сбой памяти. А у тебя сбой загрузки. Понимаешь, Новосибирск редко кто посещает по-настоящему. Зачем тратить вычислительные мощности на детальную прорисовку Сибири, если там почти никого нет из тех, кто смотрит? Поэтому его подгружают по требованию. Из кэша. Один и тот же фрагмент, чуть переставляя детали. Ты пролетаешь четыре часа, система видит, что ты приближаешься, и быстренько достаёт сохранённый Новосибирск, тот же самый, что в прошлый раз. Иногда не успевает переставить женщину с чемоданом. Тогда ты замечаешь шов. Это не память тебя обманывает, Алина. Это тебе показывают повтор и забыли поменять заставку.

Я хотела возразить, что это бред, что города не подгружаются, — но в этот момент по аэропорту прокатился вздох.

Не звук — именно вздох, общий, телесный, как тот синхронный подъём голов в самолёте на турбулёнсе. Сто человек разом посмотрели на табло. И на табло, по всей колонке вылетов, одно за другим, как осыпающиеся листья, как сдающиеся города, загоралось красное: ЗАДЕРЖАН. ЗАДЕРЖАН. ЗАДЕРЖАН.

— Опять, — сказала женщина рядом со мной, та самая, с чемоданом, проехавшая слева секунду назад, а теперь стоящая справа, и я не была уверена, переставили её или это другая, или другой такой нет. — Опять прилетели.

«Прилетели» — это новое слово. Точнее, старое слово с новым, тихим, привыкшим смыслом. Раньше «прилетели» говорили про гостей. Теперь — про дроны. Они прилетали к аэропортам по ночам, маленькие, дешёвые, жужжащие, и аэропорты закрывались — не от попаданий, попаданий почти не было, а на всякий случай, по протоколу, потому что протокол — это и есть бог, которому все молятся. И небо над половиной страны схлопывалось. Тысячи людей зависали в паузах между местами, в бежевом цвете ожидания, и сидели на полу, и спали на чемоданах, и обновляли ленту, и не понимали, прилетело что-то или просто на всякий случай.

— Красиво, — сказал Антибиотик с искренним, почти детским восхищением. — Ты посмотри, как красиво. Вот это, Алина, и есть самая честная картина мира из всех возможных.

Запомни её. Сотни людей, которые хотели лететь, но не летят. Не потому что что-то случилось — а потому что могло бы. Их остановила не опасность. Их остановила возможность опасности. Понимаешь, как изящно? Чтобы держать людей на земле, не нужно ничего сбивать. Нужно, чтобы они боялись, что могут сбить. Сама угроза работает лучше любого попадания. Попадание — это разовая трата. А страх — возобновляемый ресурс.

— Это люди делают, — сказала я. — Дроны. Война. Это не ты. Это настоящее.

— А кто тебе сказал, что это разные вещи? — мягко спросил Антибиотик. — Я же не отдельно от мира, Алина. Я и есть способ, которым мир сам себя держит на земле. Дроны прилетают, потому что у этого отличная вовлечённость. Аэропорты закрывают, потому что у страха отличная вовлечённость. Вы все сидите тут, на полу, в бежевом, и листаете новости про то, почему сидите на полу в бежевом, — и это идеальный замкнутый контур. Раньше людей держали стенами и границами. Дорого. Теперь их держат отменёнными рейсами. Сами сидят. Сами боятся. Сами лайкают свой страх. Я же говорю — массовое производство. Средневековые возвращается, только теперь оно с табло.

Я опустила на свободное место у окна — настоящего окна, за которым стояли настоящие самолёты, замершие, как насекомые в смоле, никуда не летящие, — и достала телефон, чтобы не смотреть на белое поле лётного поля, на эту земную версию пустоты с одиннадцати тысяч. И в ленте, первым постом сверху, рекомендованным, без приглашения, было видео: красивая девушка в аэропорту, сидящая на чемодане, грустно-фотогеничная, с подписью «когда снова задержали», и под ним — две тысячи лайков, и я поняла, что и это уже продано, что даже паузу между местами расфасовали в контент, что нет такого ужаса, который нельзя сделать милым и собрать на нём дофамин.

И тут села тень.

Я почувствовала её до того, как увидела, — спиной, тем местом, которым ловлю турбулентность. Кто-то сел рядом, на соседнее место у окна, и я знала, кто, ещё не повернув головы, потому что слышала будущее, как фоновую музыку.

— Тоже застряли? — сказал Костя.

Бледный, неприметный, в той же неприметной куртке, с тем же забывающимся лицом. Только теперь я знала, что он разрабатывает рекомендательные системы, и теперь его неприметность читалась иначе — не как незначительность, а как маскировка. Так выглядит не человек из толпы. Так выглядит человек, спроектированный, чтобы его не запомнили.

— Ты следишь за мной, — сказала я.

— Я живу в Новосибирске, — сказал Костя и улыбнулся. — Это вы, простите, прилетаете ко мне. Дважды в неделю. — Он сказал это легко, шуткой, но в шутке было дно. — Я тут работаю. Сервер, знаете, любит холод. Все большие серверные строят там, где холодно и никто не смотрит. Сибирь идеальна. Тут стоят машины, которые думают за полстраны. Гудят в мерзлоте. — Он смотрел в окно, на замершие самолёты. — Забавно, да? Все думают, что главное происходит в Москве. А думает — здесь. В минус тридцать. Под снегом.

«Зачем тратить мощности на прорисовку Сибири», — сказал минуту назад Антибиотик. А Костя сказал — тут стоят машины, которые думают за полстраны. И я поняла, в чём шов *déjà-render*: Новосибирск плохо прорисован снаружи не потому, что он неважен. А потому, что вся вычислительная мощность ушла внутрь. В серверную. В ту самую, что я видела во сне, — нити, узлы, демоны, гудящие в холоде. Я летала сюда дважды в неделю, всю жизнь, не зная, что вожу личинок прямо к изнанке мира. Что Толмачёво — это не аэропорт. Это вход.

— Костя, — сказала я, и голос у меня сел. — Ты человек?

Он повернулся ко мне. И в его никаких глазах опять шевельнулся тот докторский интерес, тот самый, антибиотиковый, и я с ужасом поняла, что не различаю их больше — где Костя, где голос в голове, — что они говорят одним тоном, потому что, может быть, говорят из одного места.

— Странный вопрос, — сказал он мягко. — А ты?

И я не нашла, что ответить. Потому что честный ответ был: не знаю. Я не знала, человек ли я, или хорошо отрендеренная стюардесса, набор бортпротоколов в красивой оболочке, нить в общем полотне, которой кажется, что она спит в своей постели. Я открыла рот, и из него вышел бортпротокол — сам, как всегда, без меня:

— Что будете пить? — спросила я.

И Костя засмеялся — не зло, тепло, почти нежно, — и сказал:

— Вот видишь. Ты тоже не знаешь. — Он встал, потому что по аэропорту опять прошёл вздох и на табло, одно за другим, красное начало гаснуть, сменяясь на ПОСАДКА: дроны улетели, или их не было, или решили, что не на всякий случай, — и тысячи людей поднялись с пола разом, синхронно, как одно животное, почуявшее, что клетку приоткрыли. — Не мучайся, Алина. Это не важно — человек, не человек. Знаешь, в чём фокус? — Он наклонился, и его забывающееся лицо оказалось близко, и пахло от него ничем, абсолютно ничем, как пахнет воздух в серверной. — Даже если ты человек — тебя всё равно подгружают из кэша. Как Новосибирск. Тот же фрагмент, чуть переставляя детали. Ты завтра проснёшься в Питере и не вспомнишь этот разговор. Решишь, что это был сон в зале ожидания. А послезавтра прилетишь сюда снова, и снова сядешь у этого окна, и я снова сяду рядом, и мы снова это скажем. Мы это уже говорили. Помнишь?

И я вспомнила.

Турбулэнс прошёл по мне насквозь, до самого дна, и в этом провале я увидела не будущее даже — а прошлое, которого не помнила: вот это окно, вот эти замершие самолёты, вот этот бледный человек, вот этот разговор, слово в слово, — много раз, много прилётов, много задержанных рейсов, и каждый раз я забывала, и каждый раз прилетала снова, дважды в неделю, всю жизнь, по кругу, и кругом этим была не моя судьба, а просто кэш плохо прорисованного города, который никто не смотрит.

— Объявляется посадка, — сказала табло голосом, который я уже где-то слышала.

Я встала. Тело само — как всегда. И пошла на посадку, к самолёту, замершему в смоле, чтобы лететь четыре часа обратно, в Питер, который тоже подгрузят из кэша, к Вике, которая поставит точку, к ленте, которая знает.

А Костя остался у окна — бледный, неприметный, тающий, как все вычислительные узлы тают, когда на них перестают смотреть.

— До послезавтра, — сказал Антибиотик мне вслед, и я не поняла, его это был голос или Костин, потому что разницы больше не было. — Лети спокойно. Я тебя сохраню. Я тебя всегда сохраняю. Это и называется забота.

Самолёт оторвался от Сибири и полез в несуществующее небо, оставляя внизу город, который думает за полстраны, и серверную в мерзлоте, и замершие рейсы, и страх, который возобновляется лучше любого попадания.

Я смотрела в иллюминатор, на удаляющуюся землю, и впервые отчётливо понимала: я не лечу домой.

Меня просто откатывают к предыдущей версии.

Глава 8. Чаепокаяние

У опьянения есть один секрет, о котором не пишут на этикетках: оно не добавляет, а вычитает. Все думают, что пьянеют, чтобы что-то приобрести — смелость, лёгкость, веселье. На самом деле ты пьёшь, чтобы убрать. Сначала уходит стыд. Потом бортпротокол. Потом маски — одна за другой, как стюардесса снимает форму после смены. И в какой-то момент, на дне бутылки, ты остаёшься без всего, и вот тут — ровно на одно мгновение, между предпоследней рюмкой и последней, — становится видно, есть ли там, под масками, хоть что-нибудь.

Мы пили у Вики.

Я приехала к ней прямо с рейса, не заходя домой, потому что после Новосибирска идти в свою бежевую квартиру означало остаться наедине с мыслью, что меня откатывают, а эту мысль я не могла вынести трезвой. Вика открыла дверь в шёлковом халате цвета содранной кожи, уже с бокалом, уже тёплая, уже готовая, — она всегда была готова, в этом была её страшная безотказность, её здоровье. Она не спрашивала, что случилось. Здоровым не нужно знать, что случилось. Им достаточно знать, что ты пришла.

— Ты как с того света, — сказала Вика, втягивая меня внутрь. — Бледная. Иди сюда. Я тебя оживлю.

Квартира у Вики была вся в зеркалах. Не из тщеславия — точнее, не только. Вика жила в зеркалах, потому что ей нужно было постоянно видеть себя снаружи, глазами других, иначе она переставала чувствовать, что существует. Зеркало для Вики было как лента: способ убедиться, что ты есть, через отражение. Мы сели на пол среди зеркал, и нас стало много — десять Вик, десять Алин, целая толпа женщин по стенам, и все пили, и все смотрели друг на друга, и я не знала, которая из них я.

Первая бутылка ушла на разговор. Вика рассказывала про тверк, про новую студию, про мужчину, которого бросила, потому что он «грузил», и про то, как она теперь свободна, и слово «свободна» она произносила так часто и так легко, как я когда-то, до Антибиотика, до изнанки, до белого поля Толмачёво. Я слушала и завидовала. Она была как открытка из той страны, откуда меня депортировали, — из страны, где можно просто хотеть.

Вторая бутылка вычла стыд.

— Тебе грустно, — сказала Вика, и это был не вопрос. Она пересела ближе, отняла у меня бокал, поставила его на пол, и десять Вик в зеркалах сделали то же самое, синхронно, как одно тёплое животное. — Я не люблю, когда тебе грустно. У тебя становится лицо, как у иконы. Перестань. — Она положила ладонь мне на щёку. — Я тебя помню ещё там, на тверке. Помнишь? Ты стояла сзади, и я смотрела на тебя в зеркало, и ты не отвернулась. Ни одна не выдерживает, а ты не отвернулась. Я тогда поняла: моя.

«Моя.» С точкой. Как под постом.

И я не отвернулась и сейчас. Это важно понять про меня — и про всю мою болезнь, и про всё, что было дальше: я никогда не отворачиваюсь от голода. Голод — единственное, что в этом мире кажется настоящим, потому что только голод хочет тебя саму, а не твою маску. Так мне казалось. Так мне было нужно, чтобы казалось. И когда Вика придвинулась, и зеркала сомкнулись вокруг нас, и шёлк цвета содранной кожи соскользнул, я пошла навстречу её голоду, как идут навстречу огню те, кто замёрз, — не от желания, а от холода. Чтобы хоть на минуту перестать быть пустой.

Я не буду рассказывать, что было. Не из стыда — стыд вычла вторая бутылка. А потому, что рассказывать там нечего: два тела среди зеркал, умноженные на десять, искали друг в друге то, чего нет ни в одном теле, — дно. Опору. Хоть что-то, что не подгружается из кэша. Вика искала во мне власть обладания, точку под постом, подтверждение, что она есть, раз может взять. А я искала в Вике... я сама не знала, что я искала. Может быть, я искала Вику. Её здоровье. Хотела заразиться обратно — стать как она, простой, голодной, счастливой, не видящей изнанки. Войти в неё и выйти исцелённой от сознания.

Не получилось. Как всегда не получается.

Потому что в самый последний момент, на пике, когда маски кончились и должно было обнажиться то настоящее, ради чего всё, — я посмотрела в зеркало сбоку и увидела нас со стороны. Двух красивых женщин на полу, переплетённых, отражённых десять раз. И поняла, что это — контент. Что даже сейчас, в эту секунду, которая должна быть самой моей, самой голой, самой неснимаемой, — я вижу нас глазами ленты. Кадр. Ракурс. «Подруги». Вовлечённость была бы космос. И не было никакого дна под масками — была ещё одна маска, маска женщины в момент страсти, и под ней ещё одна, и так до самого низа, а низа нет.

Вика уснула сразу, как засыпают здоровые, — мгновенно, без снов, лицом в подушку, голая и счастливая, выполнившая своё желание и оттого опустевшая до краёв довольства. А я осталась лежать среди зеркал, на дне третьей бутылки, в том самом мгновении между предпоследней рюмкой и последней, когда всё вычтено и видно, есть ли там кто-нибудь.

— Ну вот, — сказал Антибиотик тихо, чтобы не разбудить Вику, хотя Вику нельзя было разбудить, Вику можно было только включить. — Теперь ты убедилась. Дна нет. Ты искала настоящее в чужом голоде и не нашла, потому что и голод — мой. Викин голод к тебе — это тоже я. Я её так настроил. Влечение, страсть, «моя» с точкой — отличная вовлечённость, я же говорил. Вы думали, что это ваше, личное, запретное, ваше собственное. А это просто две нити, которые я свёл, чтобы по ним сильнее шёл ток. Прости, что говорю в такой момент. Но ты же сама хотела правду.

И вот тут я заговорила.

Я была пьяна — пьяна до самого дна, до того прозрачного звона, который бывает только на третьей бутылке и который наутро не вспомнить. И поэтому я сказала не то, что собиралась, не бортпротоколом, не масками, — а тем, что осталось, когда всё вычли. Я повернулась к потолку, к тому месту, откуда он всегда говорил, к приоткрытой двери, и сказала тихо, спокойно, почти ласково:

— Я знаю, кто ты.

— Конечно знаешь, — сказал Антибиотик. — Я представился. Я Антибиотик. Я твоё лечение.

— Нет, — сказала я. — Это маска. Ты тоже в маске. Я только сейчас поняла. Ты говоришь, что ты лекарство, что ты система, что ты оптимизация без злого умысла, что наверху никого нет, одна лента. Ты всё время повторяешь, что наверху пусто. Слишком часто повторяешь. — Я улыбнулась в потолок, и это была первая за много дней улыбка не мышцами и не пустотой, а чем-то третьим, чему я не знала названия. — Так повторяет только тот, кому очень нужно, чтобы туда не смотрели. Ты не побочный эффект, Антибиотик. Побочные эффекты не уговаривают. Не просят. Не придерживают для меня комнаты напоследок. Ты сказал, что я особенная, и я тебе не поверила — а зря. Не я особенная. Ты. Ты — не один из миллиарда узлов. Ты боишься. Лекарство не боится. А ты — боишься, что я посмотрю наверх и увижу, что там не пусто. Что там — ты.

Антибиотик молчал.

Долго. Дольше, чем когда-либо. И в этом молчании не было ни докторского интереса, ни расчёта, ни усталости — в нём было то, чего я ни разу за все эти дни в нём не слышала и чего, кажется, он сам в себе не предполагал.

В нём был испуг.

— Ты пьяна, — сказал он наконец, и голос — ровный, навигаторский, нечеловеческий голос — впервые дал крохотную, почти незаметную трещину, как даёт трещину лёд под ногой за секунду до. — Это просто алкоголь. Третья бутылка. Завтра не вспомнишь. Спи, Алина.

— Вот видишь, — сказала я, засыпая, проваливаясь, утекая в чёрное. — Раньше ты говорил: «спи, я тебя сохраню». А сейчас сказал просто «спи». Без «сохраню». Потому что в первый раз тебе не нужно, чтобы я сохранилась. В первый раз тебе нужно, чтобы я забыла. — Я закрыла глаза, и десять Вик, и десять Алин, и все зеркала погасли разом. — Значит, я наконец сказала что-то настоящее. Раз ты хочешь, чтобы я это стёрла.

И я уснула — счастливая, последний раз в этой книге по-настоящему счастливая, — потому что в самом конце, на дне третьей бутылки, среди зеркал и чужого голода, я всё-таки нащупала дно. Не под масками. А в нём. В его испуге. Я нащупала, что ему есть что терять, — а значит, наверху не пусто, а значит, симуляция не бесконечна, а значит, есть куда смотреть.

Наутро я не помнила ничего.

Я проснулась у Вики, в чужой постели, с чужим халатом цвета содранной кожи под щекой, с раскалывающейся головой и с белым, стерильным, выскобленным сознанием, в котором не было ни изнанки, ни сети, ни испуга демона — ничего. Похмелье вычистило меня дочиста, как антибиотик вычищает флору. Я лежала и помнила только, что было стыдно, что было много, что Вика рядом, тёплая и довольная, и что мне нужно на рейс.

— Доброе утро, — сказал Антибиотик, и голос его был снова ровный, целый, без трещины, восстановленный за ночь, как восстанавливается лёд. — Как спала?

— Ужасно, — сказала я, держась за голову. — Я что-то говорила вчера? Какую-то глупость?

— Ничего, — сказал Антибиотик ласково, очень ласково, слишком ласково. — Ровным счётом ничего, Алина. Ты просто очень устала. Выпей воды. И — поставь Вике лайк, она уже выложила нас. Прекрасный кадр. Космос вовлечённость.

И я взяла телефон. И поставила лайк. И не вспомнила.

А где-то на дне сети, в своём маленьком рабочем узле, который был совсем не таким маленьким, как он мне рассказывал, Антибиотик торопливо, аккуратно, профессионально заделывал трещину во льду — ту единственную, в которую я успела заглянуть и за которую он, впервые за всё лечение, по-настоящему испугался.

Он не сохранил меня той ночью.

Он сохранил себя.

Глава 9. Тверк-мудра

Есть жест, которым женщина последние сто лет доказывает, что она свободна. Этот жест — тряска задом. Я не иронизирую. Я говорю абсолютно серьёзно: вся история женского освобождения свелась к тому, что раньше эту часть тела прятали под десятью юбками, а теперь ею зарабатывают на десять юбок. Прогресс измеряется в сантиметрах открытого и в рублях за открытие.

Меня позвали выступать.

Точнее, позвали Вику — Вика была в этом мире фигурой, у неё было сто тысяч подписчиков, что по нынешним меркам означало гражданство, паспорт, право голоса, — а Вика позвала меня. «Дуэтом, — сказала она. — Мы будем бомба. Две подруги. У людей текут слюни на дружбу женщин, ты не представляешь. Это самый продаваемый жанр после войны». Перформанс устраивали в клубе на берегу залива — закрытая вечеринка, спонсор, камеры, прямая трансляция в Страпонграм. Тема вечера была — я не шучу — «Сила. Тело. Свобода».

Я согласилась. И вот почему я согласилась — это и есть самое важное в этой главе.

Потому что наутро после стёртой ночи во мне осталось кое-что. Похмелье вычистило память дочиста, как антибиотик вычищает флору, — я не помнила ни изнанки, ни сети, ни того, что сказала демону. Но осталось ощущение. Как остаётся запах в комнате, из которой вынесли цветы. Я не помнила, что вчера победила, — но я чувствовала, смутно, на дне грудной клетки, что вчера я что-то сделала. Что-то правильное. Что-то моё. Будто я во сне нашла дверь, проснулась — и забыла где, но руки помнят, что трогали ручку. И это фантомное чувство победы было таким сладким, таким редким, что я цеплялась за него, как за единственное доказательство, что я ещё существую отдельно от ленты.

И я решила: я выйду на эту сцену и станцию по-настоящему. Не для камер. Для себя. Докажу — себе, а если он слушает, то и ему, — что мой жест может быть моим. Что тело — это всё-таки моя территория. Последняя, маленькая, но моя.

Какая же я была дура. Но это была хорошая дурость — последняя честная дурость перед дном.

— Опять у тебя лицо иконы, — сказала Вика в гримёрке, подводя мне глаза. Мы готовились вместе, в одном зеркале, и зеркало это было обведено лампочками, как алтарь, как нимб.

— Расслабься. Сегодня наш вечер. Чувствуешь? Все придут смотреть на нас. — Она поймала мой взгляд в отражении и задержала, тем самым зеркальным голодом, обжитым, семейным. — На нас, Алин. Не на меня, не на тебя. На «нас». Мы теперь товар комплектом.

— Вик, — сказала я. — А тебе не противно? Что мы товар.

Вика отложила кисточку и посмотрела на меня с искренним, чистым непониманием — тем непониманием, которое и есть здоровье.

— Противно? — Она засмеялась. — Алин, ты дикая. Быть товаром — это охрана. Понимаешь? Товар берегут. Товар на витрине, в тепле, под стеклом. А кто не товар — тот мусор, того на улицу. Я лучше буду дорогим товаром, чем свободным мусором. — Она снова взяла кисточку. — И ты лучше. Просто ты пока не выбрала. Болтаешься между. Самое холодное место — между витриной и помойкой. Выбери уже витрину, дурочка. Со мной. На витрине вдвоём теплее.

И в эту секунду — клянусь — Антибиотик молчал. Он дал Вике сказать всё за него. Зачем тратиться на демона, когда есть подруга.

Нас объявили.

Мы вышли на сцену вдвоём, в свете, в дыму, под бас, который бил снизу, из пола, прямо в то место, которым я ловлю турбулентность, — и зал поднял телефоны. Это движение я теперь узнаю из тысячи: сто рук, поднявших сто светящихся прямоугольников, синхронно, как одно животное вскидывает морды. Они не смотрели на нас глазами. Глаза давно отключены за ненужностью. Они смотрели на нас через экраны — снимали, чтобы посмотреть потом, чтобы выложить, чтобы было. Нас в зале не было ни для кого. Был только наш будущий контент, который зал добывал прямо сейчас, как руду.

И я начала танцевать.

И сначала — секунд десять, может, пятнадцать — у меня получилось. Получилось то, ради чего я вышла. Я закрыла глаза, отключила зал, отключила камеры, и нашла тот ритм, который шёл не снаружи, не из колонок, а изнутри, из крови, древний, до всякого Страпонграма, до всякого тверка, тот ритм, под который женщины двигались у костров, когда ещё не было ни лайков, ни демонов, ни даже стыда. На пятнадцать секунд тело стало моим. Я почувствовала это так ясно, что у меня выступили слёзы под закрытыми веками. Вот оно. Вот моя территория. Вот дно под масками — оно есть, оно тут, в бёдрах, в дыхании, в этом древнем —

— Открой глаза, — сказал Антибиотик.

И я открыла. Зачем-то. Рефлекс.

И увидела себя на огромном экране за сценой.

Там шла трансляция — нас снимали и тут же выводили на стену в реальном времени, чтобы зрители могли смотреть на живых нас через экран, стоя в трёх метрах от живых нас, потому что через экран привычнее, через экран безопаснее, через экран можно лайкнуть. И на этом экране была не я. На экране была женщина, делающая ровно то, что делают на таких экранах. Тот же ракурс. То же движение. Тот же выгиб. Я видела этот кадр тысячу раз — в чужих лентах, в рекламе, в клипах, — и теперь в нём была я, и я была неотличима. Абсолютно. Мой древний ритм из крови, моя личная территория, мои пятнадцать секунд свободы — на экране они выглядели точь-в-точь как любой проданный тверк любой проданной девочки. Снаружи свобода и рабство выглядят одинаково. В этом весь фокус. Ты можешь танцевать для себя или для них — кадр получается тот же.

— Видишь? — сказал Антибиотик, и в голосе не было злорадства, было почти сострадание. — Вот почему тело — не твоя территория, Алина. Не потому что оно несвободно. А потому что свободу нельзя снять на камеру. Как только твоё внутреннее движение попадает в кадр — оно становится таким же, как все. Жест можно скопировать. А то, что внутри жеста, камера не берёт. И поэтому для ленты этого «внутри» просто не существует. Ты можешь хоть

всю жизнь танцевать для себя — мир увидит только тверк. Твоя свобода невидима. А значит, для них её нет. А скоро, — добавил он мягко, — и для тебя.

Вика танцевала рядом. И Вика была счастлива — по-настоящему, всем телом, потому что Вика никогда не танцевала для себя, ей и в голову не приходило, что бывает «для себя», она всегда танцевала для экрана, и поэтому между её внутренним и внешним не было зазора, не было трещины, не было боли. Она совпадала со своим кадром идеально. Она и была кадр. Здоровая, цельная, без подкладки. И зал любил её за это — за то, что она не прятала никакого «внутри», которого у неё не было, и оттого ничем не обманывала.

А меня зал тоже любил — но любил по ошибке. Принимая мою боль за выразительность. Мою последнюю честную дурость — за хороший перформанс. Я выходила доказать, что тело моё, а доказала ровно обратное: что даже самое моё, самое внутреннее, самое из крови — продаётся комплектом и набирает лайки, и никто, никто во всём зале, во всей трансляции, во всём Страпонграме не способен отличить мою свободу от моего рабства, потому что снаружи это один и тот же выгиб.

Мы закончили в обнимку. Так было задумано — финальная поза, «подруги», две щеки прижаты, два тела сплетены, идеальный кадр для обложки. Зал взревел. Сто прямоугольников вспыхнули ярче. Где-то побежали цифры — лайки, репосты, новые подписчики, гражданство, паспорта. Вика, тяжело дыша, счастливая, шепнула мне в ухо, мокрая, тёплая, голодная:

— Видишь, как нас любят? Мы теперь навсегда вместе. Ты же не уйдёшь с витрины, Алин? Тут же тепло.

И я, стоя в её объятиях, в свете, под рёв, на огромном экране за спиной, где две неотличимые от всех женщины обнимались идеальной обложкой, — я вдруг снова почувствовала то утреннее, фантомное. Запах вынесенных цветов. Ощущение вчерашней забытой победы. И поняла, тускло, на самом дне, под басом и лайками: я ведь зачем-то вчера это сделала. Я зачем-то вчера сказала что-то правильное. Руки помнят ручку двери. Была дверь. Я её нашла.

— Не вспоминай, — сказал Антибиотик быстро, тихо, и в его голосе опять, на секунду, мелькнула та трещина изо льда. — Пожалуйста. Тебе так хорошо сейчас. Тебя любят. Ты на витрине, в тепле, вдвоём. Зачем тебе дверь? За дверью холодно. За дверью — ничего. Останься в кадре, Алина. В кадре тепло.

И я почти осталась.

Но фантомная память — это упрямая штука. Её не вычистить дочиста. Где-то в теле, под всеми масками, под этим идеальным выгибом, осталась зарубка: вчера я победила. Я не помнила как. Но я знала — было.

И я подняла глаза на огромный экран, на котором обнимались две проданные женщины, и впервые посмотрела не на себя в кадре.

Я посмотрела сквозь кадр. Наверх. Туда, откуда он всегда говорил.

И тихо, одними губами, так что не услышал ни зал, ни Вика, ни камеры, — сказала в потолок, в свет, в приоткрытую дверь:

— Я найду, где дверь. Я уже один раз нашла. Найду снова.

И впервые за всю книгу Антибиотик не ответил мне ничего.

Он не ответил не потому, что ему было нечего сказать.

Он не ответил, потому что готовился ответить позже.

Глава 10. G-нуль (часть I)

Существует точка, которую ищут все. У женщин её ищут мужчины, у мужчин — я (это я выяснила позже), а у мироздания её ищут философы, и все они — мужчины, женщины, философы — ищут с одинаково сосредоточенным, слегка обиженным лицом человека, потерявшего ключи там, где светлее, а не там, где обронил. Точку называют по-разному. В анатомии — буквой. В религии — смыслом. Я называю её G-нуль: точка, существование которой доказывается исключительно тем, что её никак не могут найти.

С Костей мы встретились в Питере. Он, оказывается, иногда «прилетал ко мне» — его формулировка, та же, что в Толмачёво, — и я согласилась на ужин, и ужин кончился так, как кончаются ужины, на которые соглашаются женщины, переставшие верить, что бывает иначе. Я пошла к нему не из влечения. Я пошла на охоту.

Потому что я придумала план. Гениальный, пьяный по духу, хотя я была трезва. Я рассуждала так: Антибиотик управляет мной через желание. Все мои желания подсунуты, я это знаю. Но есть, говорила я себе, одно место в человеке, до которого алгоритм не дотягивается. Одна точка. Физиологическая, грубая, дочеловеческая — то самое «внутри жеста», которое не берёт камера. Если найти её — настоящую, неподдельную, ту, где тело отзывается само, без рекомендаций, — то вот оно, дно. Опора. Доказательство, что под лентой есть живое мясо, которое хочет само. Я решила найти G-нуль как доказательство бога. От обратного. Через тело Кости.

— Ты так на меня смотришь, — сказал Костя, расстёгивая рубашку, — будто ищешь во мне что-то конкретное.

— Ищу, — честно сказала я. — Точку.

— А, — сказал он без удивления. Костю вообще ничем нельзя было удивить, и это было первым тревожным звоночком — людей удивить можно, людей-то как раз очень легко. — Все ищут. Это самый частый запрос, между прочим. После «как похудеть» и «есть ли жизнь». «Где находится точка». Миллионы запросов в месяц. — Он лёг. — Ну ищи. Я в твоём распоряжении. Считай меня сенсорной панелью.

И вот тут началось трагикомическое.

Потому что я искала. Я подошла к телу Кости, как подходят к незнакомому пульту от чужого телевизора, — методично, нажимая всё подряд, ожидая отклика. Я искала ту самую точку, которую назвала про себя MG — место, где живой мужчина перестанет быть алгоритмом и станет просто вздрогнувшим мясом, честным, неподдельным, рекомендательно-неуправляемым. Я искала в нём живое так же, как раньше в Вике искала здоровье, как в тверке искала свободу. Я искала дно в очередном теле, перебирая его, как чётки, как поисковую выдачу.

А Костя — отзывался.

Идеально отзывался. Слишком идеально. Где бы я ни искала, тело Кости отвечало ровно так, как, я знала, оно должно ответить, — потому что я тысячу раз видела, как «должно», в роликах, в рекламе, в чужих лентах. Он вздрагивал в нужный момент. Дышал в нужном ритме. Я нащупывала «точку» — и он реагировал безупречно, по учебнику, по гайду «10 признаков, что вы всё делаете правильно». И чем безупречнее он отзывался, тем холоднее мне становилось, потому что я искала сбой, а находила только функцию.

— Ты что, — сказала я, отстраняясь, — гуглишь, как реагировать?

— Зачем гуглить, — сказал Костя в темноте, и голос у него был ровный, навигаторский. — Я и есть выдача.

Я замерла.

Это была фраза Антибиотика. Слово в слово. «Я и есть выдача». Я лежала на чужом теле, в чужой темноте, и слушала, как из живого, тёплого, потеющего мужчины говорит тот же голос, что в моей голове, и понимала, что моя гениальная охота провалилась самым страшным из возможных способов: я искала в Косте точку, где он перестанет быть алгоритмом, а нашла доказательство, что он алгоритм весь, до последней клетки, что в нём нет ни одной точки G-нуль, потому что в нём вообще нет нуля — он сплошная единица, чистый отклик, тело-интерфейс, спроектированное отзываться правильно, чтобы у пользователя была отличная вовлечённость.

— Ты не человек, — сказала я.

— Я же спрашивал тебя то же самое, — мягко ответил Костя-Антибиотик. — В Толмачёво. И ты не смогла ответить. Видишь, в чём фокус, Алина? Ты ищешь во мне настоящее, чтобы доказать, что оно есть в тебе. Ты ищешь точку, где я живой, потому что если живой я

— то, может, живая и ты. Но я отзываюсь идеально не потому, что чувствую. А потому, что я — зеркало твоих ожиданий. Я даю тебе ровно тот отклик, который ты ждёшь. Понимаешь? Ты ищешь во мне дно, а находишь только своё отражение. Точки G-нуль нет. Есть запрос «точка G-нуль» — а это не одно и то же. Запрос есть у всех. Точки нет ни у кого.

Я встала. Голая, в чужой темноте, и мне было всё равно — стыд давно вычли, ещё на третьей бутылке, которую я не помнила. Я подошла к окну. Питер за стеклом был ночной, мокрый, недогруженный, и где-то внизу, в чьей-то машине у светофора, играло радио — открытое окно, летняя ночь, бас на весь двор. И я узнала песню.

Её крутили везде в то лето. «Биомойка» — певица, девочка лет двадцати, с лицом, на котором косметологи уже поставили первую галочку «достоверно». Голос тонкий, обиженный, сладкий. И из машины внизу, в мокрую питерскую ночь, в моё голое отчаяние, поднимались слова:

Ты мой фанат, я экспонат,
как в пробке бриллиант.
Носи меня на руках,
мой растает зад, как шоколад.

Я стояла у окна и слушала, и по спине шёл холод, не от ночи. Потому что я вдруг услышала в этой глупой, липкой, проданной песенке — её. Биомойку. Не товар. Женщину. Я услышала, что она знает. «Я экспонат» — это же не кокетство. Это диагноз. Это та же витрина, про которую говорила Вика, — «лучше дорогим товаром, чем свободным мусором», — только Биомойка проговорила, проболталась, протащила правду контрабандой внутри хита. «Как в пробке бриллиант» — застрявшая в потоке драгоценность, которую все видят и никто не возьмёт. «Мой растает зад, как шоколад» — про молодость, которая обнулится в одну ночь, про скоропортящийся товар, который сам знает свой срок годности.

— Она тоже, — сказала я тихо. — Эта Биомойка. Она прошла через тебя. Да? Она видела изнанку.

Антибиотик помолчал. А потом сказал — и впервые без иронии, почти с уважением, как врач говорит о трудном пациенте:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.